Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Николай Николаевич Златовратский – один из выдающихся представителей литературного народничества, наиболее яркий художественный выразитель народнической романтики деревни.

- Николай Николаевич Златовратский
  - I
  - II
  - III
  - IV

Николай Николаевич Златовратский
Детство и первая школа

I

Семейный уклад неизреченного благодушия и религиозно-семинарского романтизма.

Моя родина – один из небольших губернских городов близ Москвы, про который сложилась пословица: «N. городок – Москвы уголок». Когда-то игравший значительную роль в нашей истории, он ко времени моего рождения представлял собою лишь очень скромный административный центр, населенный исключительно чиновниками всяких рангов да некоторыми дворянскими родами и обслуживавшими их купцами и мещанами-ремесленниками; лишенный всякого промышленного значения, он мог гордиться только своими историческими древностями, по большей части религиозного характера, да вишневыми садами. Вот все, что оставила на его долю восторжествовавшая над ним Москва.

Мне говорили, что я родился в 1845 году в семье скромного молодого чиновника, отец и деды которого были духовного звания, а отдаленные прадеды были будто бы крестьяне. Родился я, как мне рассказывали, очень трудно, что матушка мучилась мною трое суток (что, впрочем, вполне естественно объясняется, так как я был первенец), что родовые муки ее достигли такой степени, что все окружающие пришли к решению обратиться к местному приходскому батюшке с просьбой прибегнуть к помощи высшей силы и отворить в церкви царские двери. Повидимому, это было исполнено, и роды совершились благополучно. Дальше говорили, что я родился «в сорочке»; что это за штука, я и до сих пор не могу объяснить себе хорошо, но я помню, что матушка эту «сорочку» хранила всегда в виде сверточка сухой кожицы в маленьком мешочке, показывала мне и говорила, что это моя «сорочка», в которой я родился, что это не со всяким бывает и что рождение в ней принесет мне счастье в жизни.

Затем первое, что у меня осталось в воспоминании из самых ранних детских лет, – это были неутешные слезы матери о потере двух родившихся после меня дочерей, которые, как уверяла меня мать, вскоре одна за другой «были взяты Богом на небо». Затем я уже вполне ясно представляю себя в сообществе третьей сестры под неуклонным присмотром матушки и старой прабабки (по дедушке-дьякону), высокой, сухой, необыкновенно подвижной и хлопотливой старушки с сухим лицом, на котором особенно выдавался подбородок в виде табакерки под ее носом. Очевидно, она производила на меня сильное впечатление, так как я представляю ее себе яснее, чем отца и мать в то время. И это

понятно: отец был занят службой, мать хворала от частых родов, и «старая бабушка Катерина» являлась, стало быть, единственной деятельной, хлопотливой хранительницей домашнего очага и самой преданной моей нянькой. Прежде всего представляется она мне необыкновенно живым существом, постоянно кого-то защищавшим, кого-то примиряющим (особенно в отношениях моей нервной матери к грубоватой свекрови, а следовательно, между матушкой и отцом). Затем почему-то я всегда воображал ее «знающей все», даже по книжной части. Впоследствии мне передавали, что, когда она жила в деревне, она славилась как «начетчица» и «подвижница», ее приводили в пример, как необыкновенно сурового стоика, что она могла проводить на молитве целые дни и ночи, питаясь исключительно просфорой в день. Одним словом, о ней ходила легенда. Насколько я помню, я был всегда проникнут необыкновенным к ней уважением, соединенным как бы с некоторым религиозным страхом.

Все это, однако, рисуется мне в очень смутных и неопределенных очертаниях. Еще задолго до поступления моего в гимназию мне вспоминается она сидящей в больших очках и что-то внятно, слово за словом, читающей мне и матушке по какой-то, несомненно, «божественной» книге, а затем она как-то исчезает из моего воспоминания; повидимому, она вскоре умерла, и не в нашем доме. По крайней мере похорон ее я не помню.

Помню, что другим наиболее близким моей душе существом в то время был мой добродушный дед, низенький, худенький старичок, служивший дьяконом в церкви при одном историческом здании. Может быть потому, что я у него был первый «внучок», он ходил очень часто забавляться со мною в наш маленький домик на окраине города, игравший в моей дальнейшей судьбе такую видную роль.

Следующим затем наиболее ярким фактом, оставшимся в моем сознании, было появление в нашем доме семинаристов. Первым нахлебником, принятым к нам, был дядя Сергей (по матери), которого я в то время представляю себе не иначе как в виде необыкновенно длинной, сутуловатой фигуры с смуглым лицом и темными волосами, мало разговорчивой, несколько даже суровой, ходившей еще в длинном синем халате на манер подрясника (в такой «форме» семинаристы ходили еще в то время и в классы). Все его значение для меня в первое время ограничивалось пока, с одной стороны, клеением для меня, да столь же, пожалуй, и для себя, разнообразных змеев, и иногда необыкновенно больших, запускавшихся даже с горящими фонарями, и играньем в городки и бабки (все это производил он с необыкновенной серьезностью), с другой стороны – тем сильным

впечатлением, которое производила на меня полка в его очень маленькой комнатке (называвшейся «семинарской»), которая с каждым годом все больше и больше пополнялась стопками тетрадок, заключавших в себе так называемые «задачки» (классные сочинения); к этим «задачкам», написанным на разнообразные риторические (он был тогда еще в классе риторики), а затем и философско-богословские темы, я впоследствии относился не иначе как с величайшим уважением, хотя я в них, конечно, и не заглядывал еще тогда.

В то время я только что приступал к учению грамоте. По тогдашнему обычаю, матушка вместе с прабабкой купили азбуку и указку и вместе со мною пошли в церковь отслужить молебен пророку Науму («пророк Божий Наум, наставь младенца на ум» – молились тогда); по возвращении, всё с молитвой, сдали меня буквально с рук на руки (так как мне было тогда не больше 6 – 7 лет) учителю, такому же высокому, черноватому и мрачноватому семинаристу, как и мой дядя, который уже ожидал нашего прихода из церкви.

Мой первый учитель, несмотря на его суровый вид и на то, что он был уже «философ» (по семинарии), был очень добродушный человек. Надо полагать, что я в то время был живой и шаловливый мальчик, так как помню, что, прежде чем начать со мной урок, мой учитель должен был предварительно разыскать меня или в саду, или на улице и затем уже с разными ласковыми уговорами нести на руках домой и усадить за азбуку. Кроме впечатления этого неизреченного благодушия, в моих воспоминаниях не осталось ничего более определенного о моем первом учителе. Но, может быть, для того периода моего детства и это было уже большим преимуществом, когда припомнишь, в каких еще невероятно грубейших формах шло в то время воспитание и самого моего учителя и моих сверстников из окружавших нас соседей. Мне уже тогда приходилось от этих сверстников узнавать, как горько многим из них давалась грамота, постоянно сопровождавшаяся драньем вихров, битьем линейкой, грубыми окриками и пороньем розгами и крапивой как со стороны учителей, так и со стороны самих родителей.

В нашем доме благодаря ли случайности, или особому укладу нашей семьи царила в этом отношении несколько иная атмосфера, благодушная в общем и лишь от времени до времени прерывавшаяся какими-то необыкновенно нервными вспышками, когда и отец и мать преисполнялись совершенно необъяснимым озлоблением к себе самим, друг, к другу и к окружающим и устраивали в своем доме на некоторое, впрочем очень непродолжительное, время настоящий ад. Эти периоды, конечно,

производили и на меня очень удручающее впечатление, так как и мне в то время приходилось испытывать очень чувствительное «внушение» по таким поводам, за которые при обычном режиме нашей жизни никогда этого не полагалось. А общий режим этой жизни в нашей семье в то время складывался из двух основных элементов – из неизреченного благодушия и религиозности.

Религиозный культ, насколько я могу запомнить, с самых первых дней моей жизни играл довольно большую роль в нашем домашнем укладе. Несмотря на то, что мать и отец были еще очень молоды, но уже и в то время исполнение всяких церковных обрядностей считалось ими почти обязательным, и это особенно со стороны матери; отец же относился к такому религиозному ригоризму далеко не с таким рвением, и если не протестовал против него, то исключительно благодаря нежеланию раздражать нервную натуру матери; но для матери религиозные обрядности составляли действительно настоящий культ. Для нее это не было чем-то только внешним, формальным – это было целое обширное мировоззрение, которое охватывало одною общею гармоническою системой все проявления человеческой души; в ней заключался ответ и на самые сложные запросы жизни и на самые возвышенные задачи нравственности и находилось удовлетворение всем эстетическим потребностям в жизни. Это был поистине какой-то религиозный романтизм, который в дальнейшем своем течении, при увеличивающихся тягостях жизни, принимал характер средневекового аскетического формализма, такого же иногда сурового и нетерпимого. В первые мои младенческие годы я не помню суровость этого режима; в этом культе как для матери, так и для меня все еще было полно чего-то возвышенного, таинственного и поэтического.

Да и действительно при необыкновенной духовной скудости окружавшей нас жизни скучного городка, представлявшего лишь исключительно административный центр, при крайней низменности духовных запросов, которыми жило окружающее нас чиновничество и мещанство, такой поэтически-религиозный культ вряд ли не являлся единственным идеальным началом жизни, в котором могли находить удовлетворение наиболее чуткие натуры.

А насколько были грубы и неприхотливы еще формы и требования окружающей жизни, можно судить по тому, что, например, мои воспитатели-«философы», как дядя и учитель, несмотря на разработку головоломных философских тем в своих «задачках», которыми они славились по всей семинарии, принимали участие в больших кулачных боях, происходивших почти вблизи нашего дома между семинаристами и мещанами;

или в том, например, что моя матушка, несмотря на возвышенность своего религиозно-эстетического культа, вряд ли не снисходительнее относилась к этим боям, чем к разным комедиантам (волтижорам и гимнастам) и актерам, изредка наезжавшим в наш город. Как я помню, в смысле «светских» удовольствий единственно допускались лишь духовные и семинарские песни (из романтического репертуара 30-х годов) под аккомпанемент гуслей и гитары, но и то ни в каком случае не накануне праздников. Зато этим поэтическим наслаждениям отдавались со всею душой, и даже матушка, которая особенно любила песни романтического и религиозного содержания. Она с особенною любовью вспоминала о своем старшем брате, которого я никогда не видывал, кончившего курс в каком-то высшем учебном заведении в Питере и поступившем там же на службу, но скоро умершем. Особенно, по ее словам, он любил поэзию такого рода и даже сочинил целую книжку таких стихотворений.

К области этих поэтически-религиозных удовольствий (так как именно с этой стороны они для меня особенно памятны) должно отнести и особую страсть моей матушки к хорошим живописным иконам, украшенным особенно изящными ризами. Эта любовь развилась в ней до болезненности, для удовлетворения которой она не останавливалась перед самыми рискованными займами, иногда ставившими нашу семью в довольно критическое положение.

Этим романтически-религиозным настроением матушки надо объяснить главным образом и то, что я уже с самых ранних лет помню, что наш дом и преимущественно кухня служили всегда обиталищем для бедного деревенского люда, приходившего на богомолье и вместе по разным делам, касавшимся их нужд, относительно которых они хотели знать «правду» или по крайней мере пути к ней. Здесь по вечерам, большею частью в присутствии нас, детей, велись прабабкой и матушкой бесконечные беседы с этими случайными гостями на житейские и религиозные темы, выслушивались их жалобы на тяготы тогдашней жизни, слушались рассказы о далеких странствованиях по святым местам. Случались, конечно, среди них обманщики или жалкие попрошайки и пропойцы, но все же это были исключения; в большинстве же случаев это были или глубоко страдавшие люди от житейских тягот, искавшие в религиозных странствованиях утешения, излечения и забвения своих страданий, или же это были настоящие народные «романтики» – стихийная народная интеллигенция, душа которых не удовлетворялась мелочной сутолокой жизни, которых постоянно тянуло на волю, на простор, к духовному общению с людьми

необъятного Божьего мира, в котором они искали ответов на беспокойные запросы своего духа и расширения своего умственного кругозора.

Прибавлю еще к этому, что иногда и сам отец в праздники, когда был особенно благодушно настроен, любил собирать около себя всех чад и домочадцев и прочитывать что-нибудь из библийской или евангельской истории. Таковы были впечатления моей семейной и домашней обстановки в самые ранние мои годы.

К ним нужно прибавить и те, которые остались для меня неразрывно связанными с воспоминаниями о моих дедах. Более часто, конечно, ходил я к деду-дьякону, имевшему в городе маленький дом с большим вишневым садом. Я очень любил проводить в этом саду целые дни, весело болтая с своим добрым старым дедом, который любил подвыпить, отчего его природному благодушию не было конца. Так как сама бабка далеко не отличалась таким благодушием как относительно деда, так и меня, то мы с особенным удовольствием удалялись с дедом в чащу сада. Но особенно остался мне памятен этот сад по тем весенним вечерам, когда собирались здесь с товарищами под вишневыми кущами мои молодые дядья, в то время семинаристы, а впоследствии студенты, которые весело делились здесь своими впечатлениями и особенно хорошо пели хором, в чем принимал участие с особенным удовольствием и сам дед.

Не меньшее удовольствие доставляли мне поездки раза два в год к другому моему деду, по матери, бывшему священником в соседнем уездном городке. Если эти поездки были летние, сюда также собиралась семинарская и студенческая молодежь. Вместе с нею я ездил и по соседним селам к родственникам из духовенства, где время всегда проводилось так благодушно и весело, как это умеет делать самая зеленая молодость. Мне особенно помнится, что на меня сильное впечатление производила сельская природа, особенно на берегах Оки, и вообще вся сельская обстановка, которая в то время показывалась мне, очевидно, с наиболее светлой стороны.

Меня, маленького городского обывателя, жившего в то время все – же очень замкнутой жизнью, поражала деревня прежде всего своей поэтически-праздничной стороной, широким привольем полей, лесов и рек и благодушием своего обывателя, которое в этом случае совпадало с укладом нашей семьи.

Таким представляется мне мое самое раннее детство, насколько я могу припомнить, не омраченное ни одним особенно грустным и тяжелым воспоминанием из моей личной жизни. Это было детство, быть может, исключительно счастливое для того «доброго старого времени», когда сама религия являлась часто

прикрытием грубых инстинктов и дикого произвола и деспотизма.

II

Первое знакомство с нравами гимназической бурсы. – Перлы и адаманты дореформенной системы воспитания. – Наш Аргус и поэтический секатор.

Когда мне пошел десятый год, в моей маленькой жизни совершился важный перелом: мне был сшит, к моему великому удовольствию, невероятно блестящий, но и крайне несуразный гимназический мундир николаевских времен, который мы называли «спереди кофта, а сзади фрак», с громадным, тугим, стоячим, шитым золотым позументом воротником, который держал все тело в самом неестественном положении; тем не менее он меня приводил в самое восторженное настроение. И уже с ним вместе тотчас же явилась мысль о «генеральстве», так как я не мог устоять против искушения похвалиться им перед своими уличными сверстниками. Увы, однако, не сделал этот мундир меня генералом, но зато стоил моей душе всяческих испытаний. Прежде всего с этим мундиром я выходил из своей хотя и благодушно-поэтической, но замкнутой обстановки в широкую сферу очень разнообразного товарищества, во-первых, и в крайне дикий, неестественный уклад жизни, во-вторых, – уклад, не имевший почти ничего общего с тем, что было пережито мною раньше, – это была бурсацкая система воспитания, одинаково царившая в то время как в гимназии, так и семинарии.

В первое время гимназия как будто взглянула на меня еще весело и любовно. По крайней мере в первый год я не помню еще ничего такого, что бы особенно резко сказалось на мне. И директор, и инспектор, и учителя – все мне представлялись еще такими же добрыми и благодушными, как мои отец и мать, и это было на первъш раз понятно, так как многие из них были такие же благодушные отцы своих детей до тех пор, пока не вступала в силу «система» и они, сами робкие, не имевшие и не смевшие иметь никаких собственных мнений, делались покорными и жестокими ее рабами. Однакоже хотя я, по-видимому, и не ощущал еще в первое время особой разницы в моем положении, но уже яд школярства, возросший в условиях этой «системы» и отравлявший все юное и свежее, что было ей подчинено, невидимо впитывался в мою кровь.

Прежде всего сухой, безжизненный формализм убил во мне непосредственную поэзию религиозного чувства, – и для меня сделалось бессмысленным бременем то, к чему прежде я относился так легко и свободно. Во-вторых, с первых же шагов та

любознательность, которая поддерживалась во мне чтением с отцом и дядями «Живописного обозрения» и других подобных книг, была сразу убита и запугана совершенно бессмысленными приемами, с которыми велось преподавание с самых младших классов. Совершенно непостижимые для детского ума математические и грамматические формулы и определения, не объясняемые и не освещаемые ни единым живым человеческим словом, ложились на мой ум тяжелым свинцом и уже ко второму классу сделались для меня почти невыносимыми и противными. Было достойно удивления, каким образом некоторые из учителей этих предметов, люди добрые, мягкие и хорошие, могли так бессмысленно преподавать свой предмет и мучить нас, подвергая многих жестоким наказаниям. Я, конечно, не мог разрешить это противоречие в то время, но разрешить эту дилемму практически, как всегда и везде бывало и бывает в этих случаях, помогло товарищество, уже выработавшее опытным путем целую собственную систему в противовес педагогической. И это была, конечно, прежде всего система лжи, изворотливости, недоверия и вражды ко всему, что соединялось с представлением о науке и воспитании, и меня медленно и незаметно охватывала эта атмосфера и все глубже и глубже захватывала в себя, чем ближе я знакомился с товарищами тогдашней школы. Едва я перешел во второй класс, как уже почувствовал, что начальническая система сразу заняла неприятельскую позицию относительно своих воспитанников. Может быть, именно потому, что сами добродушные педагоги по собственному опыту знали, что с этих пор начинает уже открывать свои враждебные действия противу их науки другая, неприятельская сторона. «Великие» принципы педагогии требовали, конечно, неукоснительного истребления этого зла. И вот почти уже с 10 лет я вижу себя в храме науки между двумя воюющими сторонами, не останавливающимися ни перед какими средствами ко взаимному уязвлению друг друга.

Я особенно хорошо помню одно обстоятельство, которое самым грубым и жестоким образом сразу ввело меня в мир таких отношений, о которых я раньше не имел никакого представления. Учителем немецкого языка был у нас один благодушный, но довольно грубый немец, приходивший в класс вечно подвыпившим, с красной, лоснящей физиономией, с умильными влажными глазками. Когда он был особенно, что называется, «удариви», его появление в классе всегда сопровождалось шумной сенсацией. Наиболее проницательные школяры, уже вперед определявшие, в каком состоянии был немец, заранее подготовляли какую-нибудь каверзную штуку: или подламывали у стула ножку, или втыкали в сиденье булавки и иголки, или что-

нибудь в этом роде. Едва только в дверях появлялось широкое, расплывающееся лицо немца, как в классе поднимался невообразимый шум, все гоготало, свистало, кричало немцу какие-то двусмысленные шутки и «ура!», а он долго и бессмысленно улыбался, прежде чем успевал прийти в себя. Наконец, его торжественно вели под руку к кафедре, сажали на кресло и быстро все удалялись к партам. Дальнейший эффект не заставлял долго ждать, – немец или вскакивал, как ужаленный, или же летел со стула. Тогда почтенный педагог сразу свирепел и, смотря по настроению, или бежал жаловаться директору, или же начинал ругаться самым злобным языком, драться линейками и книгами по головам и беспощадно ставить единицы тем, кого он особенно недолюбливал.

Я почему-то тоже не пользовался его расположением, и он часто за одну-две ошибки гнал меня от стола и, не спрашивая и не принимая никаких оправданий, ставил единицу или двойку. Так же он делал и с некоторыми Другими моими товарищами, между тем как некоторые пользовались с его стороны совершенно непонятным для нас снисхождением. Впоследствии этот секрет разъяснился для нас довольно легко. Благодушный немец как ни был глуповат, однако хорошо усвоил тогдашнюю систему благовидных доходов. Под видом вечерних репетиций и уроков на дому, на которых никто никогда ничему, кажется, не выучивался, он получал с родителей неуспевающих учеников довольно обильную дань. Мой отец не мог или не хотел долго понять эту систему, и потому и был я, повидимому, записан немцем в число безнадежных по усвоению его науки. Кстати сказать, преподавал он самым варварским образом, заставляя зубрить бессмысленно целиком страницы ни к чему не нужных стихов или грамматических правил, без всяких объяснений. Я за свое время не помню ни одного ученика из гимназии, который хотя бы что-нибудь усвоил по этому предмету, если сам не был немец или не учился в семье у гувернера-немца.

Как и следовало ожидать, после таких потех над немцем (в которых, кстати сказать, я не принимал никакого участия, так как был вообще робкий, застенчивый и совершенно неумелый в этого рода проказах мальчуган), он беспощадно ставил «колы», как выводной балл за целую неделю, преимущественно нам, не пользовавшимся его расположением. Я уже знал в то время отчасти, какие результаты должны последовать за такие недельные отметки, знал как-то более отвлеченно, чем конкретно, но пришло время познакомиться с этим вплотную.

Наступила одна из «страшных суббот»: среди воспитанников, главным образом старших классов, начинались тихие,

сосредоточенные переговоры насчет «спальни» (при нашей гимназии был дворянский пансион), высчитывали путем разных каббалистических соображений, кого нынче повлекут в эту пресловутую спальню, и все с особым нервным напряжением, – кто помоложе – со страхом и замиранием сердца, кто постарше – большею частью с циническим притворным ухарством, – ожидали появления из советской комнаты страшного Аргуса нашей гимназии, зверообразного и почти неподкупного бурсака, старшего надзирателя, с недельной ведомостью в руках. С этой ведомостью медленно и торжественно обходил он классы, начиная со старшего, и низким, замогильным деревянным голосом выкликал свои несчастные жертвы, приотворив дверь класса, несмотря на присутствие учителя в классе, и без спроса прерывая урок. Выкликаемые один за другим выходили из классов, смущенные, с краской стыда на лице, с трепещущим сердцем и с чувством какого-то тайного, мало сознаваемого омерзения в глубине души, иногда сопровождаемые снисходительно-ядовитыми улыбками некоторых учителей. Наконец, около младших классов Аргус так же спокойно, равнодушно и методично устанавливал отмеченных в шеренгу и маршем по длинному коридору направлял ее в знаменитую спальню. Пока еще оставалось пройти до спальни это пространство, некоторые, особенно новички-мальчуганы, в сильном нервном волнении, с умоляющими взглядами, со слезами на глазах, дрожа, хватали надзирателя за рукав и напряженно шептали: «Иван Лукич, отпустите! Голубчик! Простите! Вычеркните хоть только теперь!.. Добрый! Голубчик!..» – и некоторые падали на колени. Но Аргус был холоден как лед, и шеренга продолжала направляться к цели.

В этой церемонии пришлось принять участие и мне в первый раз в моей жизни. Конечно, трудно представить теперь эти ощущения, которые испытал я во время появления Аргуса и в тот момент, когда он выкликал мое имя, но я все же и теперь ясно вспоминаю, что основным ощущением, охватившим меня тогда, было чувство глубочайшего стыда; перед кем, перед чем, за что – я решительно не знал. Но это чувство снедало меня до болезненности и во время всей этой процедуры и долго-долго после.

Я вступил вместе с другими своими сверстниками в общую шеренгу и замаршировал вместе с ними. Я помню, что я не просил и не молил ни о чем Аргуса, но мое лицо горело, и я вместе с чувством стыда испытывал необъяснимый страх перед чем-то мерзким и страшным, о чем я не имел никакого конкретного представления. В семье я не подвергался никаким

телесным наказаниям. Если, и то чрезвычайно редко меня хлопала раздраженная матушка маленьким прутом из веника, то, конечно, сопоставление этого прутика с тем, что совершалось передо мною теперь, могло быть только очень комично. А самая инквизиторская церемония? Разве она одна не была уже целою трагедией в нашей детской жизни?

Двери знаменитой спальни отворились настежь. Это была громадная, длинная комната с тройным рядом железных кроватей в глубине ее, с большим круглым бассейном для умывальника на переднем плане, около которого стояли теперь трое сторожей в обычных мундирах отставных солдат, с пучками розог в руках.

– Смотри, Захарченко тут, – сказал мне шепотом один мальчуган, толкая меня локтем и показывая на переднего солдата с худым, обыкновенно добродушным, но теперь сердито-серьезным лицом.

У меня как будто что-то отлегло от сердца, и луч какой-то совершенно неопределенной надежды мелькнул в моем воспаленном мозгу. Захарченко был тот солдат, о котором среди учеников упорно держалось мнение, что это был единственный из секачей, который необыкновенно ловко умел проводить начальство, показывая вид, что он с зверским усердием сечет свою жертву, даже вызывая для всех очевидные полосы и в то же время не принося никакой существенной боли своим жертвам. Говорили, что он особенно был жалостлив к малышам.

Не успела еще наша шеренга выстроиться в настоящем порядке вдоль пустого пространства между солдатами с кучею розог и умывальником, как из глубины спальни появилась внушительная и характерная фигура нашего инспектора. Это был человек среднего роста, очень толстый, заплывший жиром, с большой головой, с падавшими до плеч волосами, с крупными чертами лица, с большим животом и с короткими ногами. Ходил он в очень широком форменном светлосинем сюртуке, в широчайших таких же штанах, с неизменной серебряной табакеркой в руке, из которой он постоянно таскал толстыми жирными пальцами табак к такому же жирному носу, обильно усыпая свой живот. Это был ученый классик, умный человек, как говорили о нем у нас в городе, в то время погруженный в поэтический перевод поэмы «Магабгарата». Может быть, благодаря именно этой поэтической настроенности на его лице постоянно сияло надменно-невозмутимое выражение с печатью легкой думы на челе и как бы благоволения ко всем. Величественно покачиваясь, он словно плыл к нам, и на его лице было выражение такого довольства, как будто ему предстояло

чрезвычайно приятное зрелище.

– Ну, «сударь-котики»! (это его любимое выражение) – сказал он нам, малышам, трепля нас почти ласково толстыми табачными пальцами за щеки (эти пальцы мне казались всегда необыкновенно противными). – Ну, сударь-котики, боитесь? Новички? Ага, ага! Надо знать, сударь-котики, все на свете. Это ничего! Это хорошо!.. Надо знать, сударь-котики, все на свете! Вот мы и начинаем с наших молодцов-то, опытных уже, а вы посмотрите… это хорошо вам для памяти… Амосов! – крикнул он. – Ну, сударь-котик, ложись!

И вот началось что-то дикое, бессмысленное, возмутительное. Амосов, великовозрастный детина-пансионер, бривший чуть не каждый день бороду, высокий и худой, с развязными манерами, ухарски всем улыбнулся, быстро расстегнул курточку и как-то пластом шлепнулся на пол вдоль шеренги.

– Начинай! – крикнул инспектор. Розги свистнули с двух сторон.

– Раз, сударь-котик! два! три! – считал инспектор. Молодое тело начинало извиваться. Раздались выкрики. После ударов двадцати Амосов уже кричал:

– Будет! Почему сверх счета?

– Как сверх счета? Почему, сударь-котик, сверх счета? А вот, сударь-котик, мы теперь тебе погорячее…

И к ужасу своему я увидал, как жирные пальцы инспектора опустились в табакерку и, вытащив оттуда большую щепоть табаку, он стал посыпать им голое, покрытое рубцами тело своей жертвы. Затем я уже решительно не помню, как продолжалась дальнейшая процедура, вплоть до того, когда я услыхал свою фамилию. Дрожащий, с растерянным взглядом, я весь заволновался и куда-то заторопился, как будто мне хотелось скорее, как можно скорее совершить ужасно мерзостное дело. Я уже не думал в это время ни об инспекторе, ни о Захарченко. Быстро спустив штанишки, я лег на холодный пол… и через несколько минут вдруг стремительно вскочил и бросился вон из спальни, спешно на ходу натягивая брюки. Я слышал только, как вслед мне раздавался громкий хохот инспектора, которому что-то доставило очень большое удовольствие. Заразил ли и меня этот хохот, но я, выбежав в коридор, тоже засмеялся нервно, истерически, сквозь слезы, и в то же время я почувствовал страшный стыд, когда мимо меня прошел какой-то солдат. Когда же я в начавшуюся вскоре перемену встретился со своими товарищами, я уже спокойно смеялся и ухарски говорил:

– Это пустяки все!

– Разве ничего? – спрашивали меня малыши. – Кто тебя сек?

– Захарченко!

– А…

Но я скрыл, что мне дали всего три розги, что мне действительно нисколько не было больно, что инспектор все это проделал надо мною на первый раз только ради острастки и что ему доставило необыкновенное удовольствие насладиться одним лишь моим страхом и стыдом.

И с этой минуты сколько отвратительных впечатлений оставило след на моей душе, осквернив ее детскую непосредственность!.. К описанной секаторской церемонии я привлекался единственный, последний и первый раз, и между тем я не мог забыть всего этого позора всю свою жизнь. Для меня неясным остается до сих пор, почему я больше не подвергался экзекуции, хотя вся прежняя педагогическая система продолжала еще процветать в полной силе по крайней мере три или четыре года, а на самом мне эта экзекуция не только не отразилась в форме какого-либо «исправления» в педагогическом смысле, но, напротив, школярство все больше и больше захватывало меня, и я все больше примыкал к враждующей стороне, все больше терял интерес к сухой и мертвой школьной науке и учился все хуже. Единственным моим стремлением в это время, как и громадного большинства моих товарищей, было изыскание всевозможных средств к тому, чтобы формальным образом отделаться от своих школьных обязанностей. Средства эти, как, вероятно, известно всем учившимся в подобных заведениях, чрезвычайно разнообразны; на изобретение их тратится масса юных духовных сил, а в основе лежат ложь, обман и недоверие, и при этом почти никогда ни капли стыда, ни малейших укоров совести. Таковы всем известные блестящие результаты «системы», таковы они были для меня и, может быть, в большинстве случаев остаются для многих до сих пор! Удивительно прочна и устойчива эта мудрая «система», и между тем в создании ее и поддержании участвуют не какие-нибудь дикари, а самые патентованные мудрецы государства.

Не могу здесь не привести одного, ничтожного самого по себе, факта, но, как мне думается, характерного в психологическом смысле. В первом же году поступления моего в гимназию к нам в семью был взят маленький нахлебник, мой ровесник и одноклассник, некто П., анемичный, золотушный мальчик из какой-то полуразорившейся помещичьей семьи, вялый и малоразвитый физически, но изворотливый и способный на разные тайные выдумки, в которые он меня и посвящал секретно. Пойдем ли мы в городские ряды, он остановит меня перед какой-нибудь соблазнительной игрушкой и, за неимением средств

приобрести ее, начнет развивать передо мною различные нелегальные способы к ее приобретению. Помню, однажды такою соблазнительною вещью явилась для Меня деревянная пушка. Не один день уже мы присматривались к ней, и немало способов придумывал П., чтобы ее приобрести. Почему-то в данном случае я не мог рассчитывать, чтобы родители дали мне денег на ее покупку, хотя они сами часто баловали меня и не скупились покупать мне игрушки. Наконец, П. посоветовал мне утащить тихонько у отца из кармана деньги, конечно мелкие, которые он нередко оставлял там. П. очень обстоятельно изложил мне весь процесс похищения и сокрытия всяких следов, так что не оставалось сомнения, что дело могло кончиться вполне благополучно. Как теперь помню, что за жуткое чувство испытывал я вообще в то время, пока П. развивал передо мною свой план. Несколько раз щеки мои вспыхивали заревом, на сердце что-то щемило, и я никак не решался. Проходил день – опять те же планы, те же горькие ощущения! Наконец, соблазн превозмог, я подошел к жилетке отца, запустил пальцы в карман, но тотчас же вытащил их, как обожженные, и убежал. И вот снова началась пытка. Наконец, я решился окончательно: серебряные монеты были взяты, и мы бросились с П. в лавку. Пушка была куплена, П. с величайшим удовольствием стрелял из нее, я любовался, но – увы! – все наслаждение от покупки было для меня чем-то совершенно отравлено. Я уже говорил, что ни отец, ни мать меня никогда не наказывали, а между тем меня снедало такое жуткое чувство страха и стыда, что я помню о нем до сих пор. Откуда это напряженное чувство? Чем и кем оно было выращено в моей маленькой душе? Я и теперь затрудняюсь дать на это определенный ответ. Я хочу здесь указать только на ту почву, на которой мудрой «системе» предлагалось сеять свои семена. И вот не прошло двух лет, как эта мудрая «система» сумела эту девственную почву если не извратить совсем, то надолго превратить в пустырь, засеянный всяким бурьяном.

Замечательно, что эта мудрая «система» проявлялась в двух направлениях: она не только истязала и увечила наши маленькие души, но она также увечила и самих мудрецов. Большинство из них были такие же благодушные отцы семейств, как и наши, и в то же время совершенно спокойно смотрели на то, что производилось их же собственными руками, и чинили всяческие издевательства над маленькою личностью, хотя бы это были их собственные дети, нисколько не смущаясь теми результатами, какие от этого получались. «Система» заглушала в них всякое непосредственное чувство, всякое мало-мальски критическое отношение к тому, что делалось вокруг них и что проделывали

они сами. Поразительно, что даже самые юные из педагогов являлись к нам уже совершенно «готовыми», а мы встречали их, конечно, с инстинктивной надеждой, что они принесут нам что-нибудь новое, освежающее и очищающее. Я помню, какое ожидание возбудили в нас два молодых педагога, учитель математики и учитель естественной истории. По тому серьезному виду, с каким они к нам явились, по тем как будто новым, более интересным приемам преподавания они как будто действительно подавали на что-то надежды, а между тем в скором времени юный натуралист жестоко отодрал за уши и за вихры первого провинившегося из нас, а математик выступил так угрожающе и сурово, как будто мы давно уже были самыми заядлыми его врагами: наставив беспощадно целому полклассу единиц, он со спокойной совестью смотрел, как после эту толпу «единичников» наш Аргус церемониальным маршем водил на экзекуцию.

И вот мне пришлось быть свидетелем необыкновенно странного явления: едва только после Крымской войны повеяло новым духом, едва только чуть-чуть начала рассеиваться окружающая всех мгла, как вдруг громадное большинство наших благодушных мудрецов чудодейственно и даже как-то радостно изменилось. Вдруг они как будто что-то поняли, как будто чего-то устыдились или, лучше сказать, как будто сами воспомнили, что и у них на душе когда-то хранилось что-то хорошее, возвышенное, что когда-то само протестовало против тех ужасов, орудием которых они явились впоследствии. Конечно, чудеса эти были не ахти какие большие; конечно, не могли люди, застаревшие в своих привычках, измениться сразу во всем, но тем не менее превращение было поразительное: экзекуции исчезли почти радикально, и, повидимому, даже Аргус с певцом «Наля и Дамаянти» если и огорчились этим сначала, то скоро утешились тем, что еще осталось немало других способов, которыми можно при благоприятных случаях донимать маленького человечка. Что касается других мудрецов, то даже старики вдруг засуетились, как будто только теперь узнали, что наука, как и все, движется вперед, что, кроме тех заскорузлых книжек, которые они учили когда-то, появились и появляются другие, более свежие, живые и интересные, – и вот они принялись их наскоро читать и даже с какой-то наивною радостью снизошли до того, что стали делиться этими открытиями и с нами. Новый дух освежительной струей повеял и на нас. Но это было еще впереди, а пока громадное большинство из нас жило в атмосфере удручающего формализма.

III

Антиморальное влияние бурсы. – Педагог парикмахерского типа. – Патриархальные и педагогически-сыщнические типы. – Пугало «системы».

С каждым годом своего пребывания в гимназии я все больше начинал ощущать какую-то душевную раздвоенность, которая, казалось, росла все сильнее и сильнее. Я переживал как будто две жизни, непохожих одна на другую: одну – дома, другую – в гимназии. Атмосфера, царившая в нашем доме в то время, как я уже говорил, представляла собою характерную смесь религиозной поэзии, соединенной со всяческими суевериями, благодушия и того житейского ритуала, который несколько напоминал домостроевский уклад, лишенный, впрочем, формы грубого насилия, хотя и очень требовательный в смысле формального и чистого ригоризма. Эта атмосфера как бы некоторого старообрядческого благолепия, проникнутая религиозно-поэтическою дымкой, с одной стороны, и, с другой – тем романтически-юношеским колоритом, который придавали ей мои дяди, в то время уже кончавшие курс и серьезно задумавшие готовиться к поступлению в университет, представлялась мне хранительницей чего-то возвышенного, идеального, где моя маленькая раздвоившаяся душа находила или нравственное успокоение, или мучилась терзаниями совести за свои ребяческие грехи и помыслы. Одним словом, насколько я помню, здесь именно чаще всего вспыхивало и находило отклик все то младенчески-чистое, светлое, что было в моей натуре. Совершенную противоположность этой домашней атмосфере представляла для меня атмосфера тогдашней гимназии. Не знаю почему – потому ли, что по происхождению и по всем жизненным привычкам я принадлежал и тяготел душою к низшему разночинскому и деревенскому слою, или благодаря самому укладу тогдашней гимназической жизни, но только эта жизнь представлялась мне всегда чем-то до того чуждым и далеким, что долго не находила почти никакого отклика в моей интимной духовной жизни. А между тем влияние ее на меня в первые четыре года в отрицательном смысле было очень велико и очень печально. Наука сделалась для меня уже со второго класса каким-то страшилищем, вроде отбывания тяжкой повинности, а товарищество и общение с однокашниками все более и более становилось для меня проводником таких антиморальных познаний, о которых я раньше не имел, да и не мог иметь

никакого даже смутного представления. В этом смысле атмосфера тогдашней гимназии, в особенности ее пансиона, была довольно непривлекательна. Среди чуть ли не большинства великовозрастных пансионеров старших классов царил скрытый разврат и цинизм, скабрезные разговоры представляли самое излюбленное их развлечение. Они собирали вокруг себя целую толпу мальцов и развращали их младенческие души, если они еще раньше не были развращены в своих крепостных дворнях. Среди них практиковались всевозможные виды школярской разнузданности, от ребячески легкомысленных до самых грубых и противоестественных проступков. Час за часом, день за днем разлагающая язва этой атмосферы невидимо впивалась и в мою душу, вызывала со дна ее темные, низменные, звериные инстинкты, заставляя прислушиваться к этой мерзости. И это в то время, когда мне было не более двенадцати – тринадцати лет!

Достойно замечания, что эта атмосфера находила косвенно скрытое сочувствие даже со стороны некоторых педагогов. Так были надзиратели, по секрету передававшие ученикам о своих любовных и иных похождениях и вообще с удовольствием беседовавшие с ними на эту тему; были и учителя в таком же роде, как, например, великолепный француз парикмахерского типа, вывезенный каким-то барином из Парижа к своим детям, а затем за негодностью приспособленный к нашей гимназии в образе заправского педагога; отчасти повинен был в этом и вышеупомянутый немец. Я помню, как раза два в неделю мы сходились по вечерам а квартиру к французу в количестве десяти и более человек для практических занятий по французскому языку. Предполагалось, что обучение артелью каждому из нас обойдется значительно дешевле; действительно, приходилось на каждого не более 50 копеек за вечер. Это были необыкновенно игривые вечера! Великодепный француз, всегда одетый по последней моде и пугавший нас в классах своими элегантно-изысканными манерами и видом сурового ментора, у себя дома совсем преображался: он был такой игривый, веселый и забавный холостяк, рассказчик разнообразных фривольных анекдотов, которые передавал нам, для практики, на французском языке, а мы должны были по очереди пересказывать их, как умели. Затем через час этой веселой болтовни раскрывался ломберный стол, и мы усаживались с милым парижанином за карты в невинную игру «по маленькой», причем разговор также старались вести по-французски. Нередко, однако, эта веселая игра вводила в азарт старших учеников, и они засиживались у почтенного педагога, проигрывая уже «по большой» родительские деньжонки. Несмотря на такую разностороннюю практику во французском языке,

кажется никто из нас так-таки у этого француза языку и не выучился, но зато преуспевали, и очень успешно, в познании кое-чего другого. У немца тоже устраивались какие-то вечера «для практики» тех воспитанников, которые брали у него приватные уроки, но у него, как человека семейного, вечера эти носили более невинный характер: на них пили чай, играли, танцевали, и они не отличались такой циничной откровенностью, как у парижанина; однако и эти вечера не обошлись без очень печального любовного инцидента.

Таковы были некоторые формы и результаты «внешкольных занятий» с нами педагогов. Но эти внешкольные занятия были случайностью, так как в программах мудрой «системы» таковые были совсем не предусмотрены, или же, вернее, предполагалось, что раз система требовала, чтобы ученики обязательно вызубрили дома то, что им назначено было по программе педагогами в классе, по классической формуле «от сих до сих», то этб и должно было быть совершено. Как это совершалось, «системе» не было до этого никакого дела. Все до такой степени были уверены в непогрешимости и непререкаемости «системы», созданной какими-то неведомыми мудрецами там, «наверху», и скрепленной подписью «быть по сему», что ей бессознательно приписывалась чудодейственная сила: раз дети учатся по «системе», одобренной свыше, то они обязательно должны выходить лучше, чем были раньше; если же выходили хуже, то в этом виновата уже не «система», а злая воля и негодная натура ученика, «испорченная от рождения»; таких «система» могла только или «карать», или же совсем «извергать» из сферы своего воздействия. Так думали мудрые педагоги и вместе с ними громадное большинство родителей… В сущности «система» не преследовала никаких воспитательных целей, понимая это в научно-педагогическом смысле, если не считать формализма школьной дисциплины, ограничивавшейся элементарным требованием соблюдения порядка, тишины в классе и видимого почтения к начальству. За дверями школьной дисциплины, как только мы оставляли здание гимназии в три часа, непосредственные отношения между нами и начальством прекращались до утра будущего дня, и мы, как маленькие дикари, шумно расползались по городским улицам, переполненные чувством хотя бы и относительной свободы; дома нас могли ожидать некоторые неприятности, вроде предстоящей зубрежки уроков или ворчания родителей, но все же мы, «вольноприходящие» гимназисты, чувствовали себя несравненно счастливее пансионеров или злосчастных бурсаков-семинаристов, которых школьная дисциплина продолжала давить без перерыва целый день. Трудно и представить, что было бы с нами, если бы

пресловутая «система» ввела в свою программу и забрала бы в свои руки и внешкольное воспитание! К счастью, в то время она еще до этого не додумалась, ограничив свое воздействие исключительно школьной дисциплиной да неукоснительным выполнением учебной программы. И это было благо: хотя мы, в большинстве почти бесконтрольно (так как не существовало в сущности и рационального домашнего воспитания), были предоставлены стихийному воздействию разнообразных перекрещивающихся влияний и рисковали не раз нарушить основы общественного порядка, но мы по крайней мере могли в пределах своей детской природы развивать хоть сколько-нибудь свободно дарованные нам способности. И эта относительная свобода была существенным противоядием воздействию на нас «системы».

Другое противоречие коренилось в самых недрах «системы». Зависело оно от общего патриархального уклада вообще тогдашней жизни. Дело в том, что «система» в то время почти не имела среди своих адептов-педагогов, призванных ее всячески укреплять и поддерживать, людей, преданных ей «не токмо за страх, но и за совесть», напротив, все это были только жалкие рабы, тянувшие почти бессознательно свою лямку именно «за страх» и нисколько не расположенные да и не умевшие стать ее истинными стражами «за совесть». Вспоминая учителей нашей гимназии за этот первый период моих ученических лет, я не могу большинство из них представить иначе как по существу добродушными, апатичными, вялыми, полуневежественными, которые преподавали столь же механически, без малейшего увлечения, по схоластическим шаблонам, предписанным «системой», как переписывает безучастно в канцеляриях бумаги любой чиновник. Они могли в школе иногда горячиться, негодовать на маленьких шалунов и лентяев, неустанно и полусознательно в той или иной форме протестовавших против дикой «системы», пускать в ход грубые воспитательные приемы – драть за уши и за волосы, бить линейкой и книгами по голове, давать подзатыльники или прибегать к помощи нашего обер-секатора, но все это проделывалось исключительно в видах поддержания только формальной школьной дисциплины. Они, как и мы, как только выходили после уроков из дверей гимназии и снимали казенный сюртук, переменив его на традиционный по тому времени халат, так тотчас же и превращались в самых обыкновеннейших и мирнейших, как и наши отцы, обывателей, которым решительно нет никакого дела ни до какой педагогии. Мы часто видали их по вечерам и праздникам в наших семьях благодушно выпивающими, смакующими кулебяки, играющими в

картишки и не выражающими ни малейшего намерения вмешиваться в интимную жизнь детей или в их отношения к отцам и матерям; когда к ним приставали по поводу каких-либо конфликтов между отцами и детьми, они только энергично отмахивались. Одним словом, все они были совершенно лишены той склонности и способности к «педагогическому сыску», который так блестяще развился в наших школах спустя два десятилетия. Были представители этого иезуитски-сыщнического типа и в наше время, но скорее как исключение. Таков, например, был вышеупоминавшийся обер-секатор и обер-сыщик, старший надзиратель. Грубый и жестоко прямолинейный, он был истинным и неукоснительным адептом «системы», не только жестоко карая нас, детей, физически, но и нравственно, грубо и беззастенчиво залезая грязными лапами в детскую душу и вывертывая ее до дна. Его боялись и ненавидели не только дети, но и родители наши и сами педагоги, которые, однако, иногда, в силу своей рабской приниженности, обращались к нему за педагогическим содействием, радуясь в душе, что около них имеется человек, могущий исполнять грязные обязанности, к исполнению которых они сами не чувствовали ни расположения, ни умения.

К этому же педагогически-сыщническому типу мог быть причислен и знаменитый в нашей ученической летописи инспектор-поэт, но только отчасти: он был слишком «гурманд» и эпикуреец и в то же время человек, не чуждый «высшей» дворянской образованности, чтобы соперничать по части сыска с слишком грубыми приемами вышереченного дубинообразного вахтера педагогии.

Главным столпом «системы» в нашей гимназии, усвоившим до тонкости всю соль ее, должен был быть директор, в то время единственный и бесконтрольный руководитель всего рабского педагогического совета. Но на деле наш директор был не столько столпом, сколько пугалом. По натуре добрый и даже гуманный человек, он, сделавшись директором, решил, что для того, чтобы с честью исполнять свою миссию, ему необходимо напустить на себя как можно больше строгости, запрятав елико возможно глубже под мундир все то мягкое и добродушное, что могло бы рассеять очарование этой строгости. И он, бедный, старался над этим изо всех сил! На его счастье, природа наделила его на диво уродливо-устрашающей физиономией, как будто именно с целью дать ему возможность выполнить с достоинством свою миссию – быть пугалом «системы». Он был настоящий Квазимодо в мундире: кривой, с громадным безжизненно-серым глазом, который ходил коловоротом в минуты гнева, изъеденный оспой, с

кривым, похожим на клюв хищной старой птицы носом, и в то же время низенький и худой, он производил на нас, особенно маленьких гимназистов, необыкновенно импонирующее впечатление. Он нам снился во сне как чудовищное олицетворение гимназической «системы», когда нас душил кошмар, а наяву мы как-то инстинктивно избегали малейшей возможности попасться ему на глаза. Эта инстинктивная боязнь его преследовала нас вплоть до окончания курса. А в сущности он был только самое простое пугало, фактически всецело находившееся в руках обер-сыщика, старшего надзирателя, и инспектора, которые напускали его на нас в целях вящего и ничем не сокрушимого устрашения. И он устрашал и был, повидимому, очень доволен, что это ему так легко удавалось, и глубоко уверен в том, что таким образом он высоко держит врученное ему знамя «системы» на благо своих воспитанников, не сознавая, какую жалкую роль он играл в воспитательном смысле. Между тем, когда доходили непосредственно до него просьбы о смягчении участи кого-либо из учеников от их родителей или их самих, он под личиной суровости нередко бывал мягкосердечен и немало делал доброго. Но все это бесследно исчезало в нашем представлении, как и самая личность его, перед общими результатами того влияния и воздействия, какое имела для нас «система».

Я не буду останавливаться здесь на всех подробностях, характеризующих «дореформенную» школу, в которой я учился, так как это было бы совсем лишним повторением того, о чем уже неоднократно и подробно писалось и изображалось в различных мемуарах. Мне хотелось только указать на некоторые особенно типичные стороны нашей гимназии, наиболее характерно, по моему мнению, отражавшие как общий дух тогдашней образовательной «системы», так и то влияние, какое в результате оказала «система» на наши юные души.

IV

Противоядие «системе». – Спорт ребячьей улицы. – Зубрежка. – Накануне «извержения». – Педагогическое чудо.

Вспоминая первые четыре года своей школьной жизни, я прежде всего поражаюсь тем, что в моем представлении не сохранилось ни одного факта, в котором сказался бы хоть малейший проблеск духовного единения как со школой вообще, так и с единичными ее представителями; в моем воображении не рисуется ни одной личности, с которой соединялось бы представление о мягкой, сердечной близости, которая чем-нибудь дорогим и незабвенным затронула бы мою ребячью душу, хотя бы на йоту раздвинула мой духовный кругозор: все рисуется серо, бледно, холодно на туманном фоне какого-то вялого и бессодержательного формализма. Влияние школы в положительном смысле было почти ничтожно. О влиянии отрицательном я уже говорил раньше. Оно было бы громадно и безнадежно-бедственно по своим результатам (как это и сказалось на дальнейшей судьбе некоторых моих сверстников), если бы жизнь стихийно не протестовала против дикой «системы», вырабатывая те противоядия, о которых я упоминал и которые при многих своих отрицательных качествах были для нас благом. Этим благом была прежде всего та относительная свобода, которой мы пользовались за границей школьной дисциплины. Положим, это была свобода чисто стихийная, свобода ребячьей улицы, но зато она давала нам возможность дышать полной грудью, жить всеми фибрами своего юного, быстро растущего организма. Можно сказать, что мы сами за свой собственный риск производили грандиознейший опыт применения разнообразных форм того «физического воспитания», о котором так много пишут теперь различные школьные реформаторы. Я уже упоминал раньше, как мы, «вольноприходящие» гимназисты, дети низшего разночинства – мелких и средних чиновников, купцов, ремесленников, небогатых дворян и духовенства, – когда после уроков захлопывались за нами двери гимназии, как быстро и с каким восторгом рассыпались мы по улицам, стремительно несясь к нашим обиталищам. Через полчаса, через чае после обеда на ребячьей улице уже кипит жизнь. К гимназистикам прибавляются семинары-училищники, и вот открывается бесконечный ряд всевозможных физических упражнений, разнообразящихся по сезону: городки, клюшки, бабки – осенью, катанье с гор,

постройка и осада снеговых крепостей – зимой, с грандиозными битвами снежками двух армий; а летом – чего стоят общие купанья, гулянья в городскую рощу, величественные походы, марши и парады в устраиваемых за городом лагерях, с знаменами, значками, в великолепных бумажных шлемах!.. И все это огромными шумными артелями, переносившимися на полной свободе с места на место, как стаи чирикающих воробьев и скворцов.

Конечно, дело не всегда обходилось без греха, и стихийная свобода нередко заводила нас в довольно рискованные предприятия, вплоть до экспроприации в чужих огородах, садах и даже мелочных лавочках по части съедобного и лакомств, под предводительством какого-нибудь опытного мальца из уличного «пролетариата». Впрочем, такие экспроприаторские подвиги в больших размерах были все же редкими исключениями, совершаемыми под давлением авторитета более великовозрастных уличных героев, уже значительно искусившихся в познании добра и зла. В общем же, вся наша уличная жизнь носила характер вполне невинных упражнений юного тела и ума, среди которых, наоборот, совсем выходили из голов те уродливые влияния, которыми нас награждала «система» в школьных стенах.

Наше увлечение уличной свободой было так велико, что почти никакие усилия родителей не могли нас загнать под домашний кров ранее наступления темноты. И только тогда, запыхавшиеся, разгоревшиеся и взволнованные, мы, еще не остывшие, нервно хватались за постылые учебники и, закрыв уши, погружались в мистическое действо: жадным взором мы тщетно силились вникнуть в смысл каббалистических знаков, с единственной целью как можно скорее внедрить их в наши головы. «Что такое вера? – гудит себе под нос маленький школьник. – Вера есть уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем…» Вера есть уверенность… Господи! Что же это такое? Ну, да все равно не поймешь!.. «Вера есть уверенность в настоящем, как бы… в невидимом…» – гудит опять мальчик, закрывая глаза… А вот дальше еще: «Вера есть уповаемых извещение… вещей обличение невидимых…» Волосы мальчика встают дыбом, глаза начинают безумно блуждать, в сердце медленно вливается отчаяние… и мальчик опять гудит безнадежно. В соседней комнате начинает прислушиваться к отчаянному гудению отец и, отрываясь от дела, идет к сыну.

– Ну что же, все еще не выучил? – спрашивает он.

– Нет, папаша, выучил… Попробуйте, спросите…

– Ну, говори.

– Вера есть уверенность… уверенность… как бы обличение… уверенность уповаемых… – тараторит мальчик и внезапно спрашивает: – Папаша, что значит «уповаемых уверенность»?

– Ах, Боже мой! – вместо ответа вздыхает отец, – ведь ты ничего не понимаешь… Когда же ты выучишь? Вот прогулял, прошатался… А я что могу сделать?.. Ведь придет же в голову писать таким языком для детей!.. Ведь я сам это едва уразумел только в богословском классе… Разве тебе можно понять это?.. Это – текст… Надо зубрить… Зубри!

И отец, сердито двинув к сыну учебник, раздраженно уходит к своему делу… Мальчик, уже с полной безнадежностью, опять закрывает уши и начинает гудеть, косясь на лежащую рядом стопку других учебников, все таких же доисторических ископаемых педагогической схоластики: арифметика – Магницкого, история – купца Зуева, география – Ободовского… При одном воспоминании об этих неудобоваримых мастодонтах берет ужас!.. Проходит час, другой, слипаются глаза, маленький организм требует покоя, а мальчик все гудит…

– Ну, что? – опять спрашивает отец.

– Ничего, папаша, я успею, я завтра повторю в перемену, – лепечет мальчик.

– Вот пробегал по улице… Все шалопайничаешь… А теперь уже одиннадцать часов… Ступай спи!.. Этакие идиоты! – ворчит отец уже себе под нос. – Ничего толком ребенку не растолкуют… Одна зубрежка…

– Ведь и ему надо когда-нибудь погулять, – вставляет мать, гладя уставшую головку сына и провожая его в спальню…

Мальчик засыпал скоро, но сон его был тревожен: то неудобоваримые тирады из учебников продолжали дразнить его мозг, перепутываясь длинной вереницей, то коловоротом вертелся перед ним страшно-огромный неморгающий глаз директора, то угрожающе жужжал над ухом шипящий бас гимназического Аргуса. И только когда все это сменял оживленный шум ребячьей улицы, в сиянии весеннего солнца или в искристой бодрящей атмосфере морозного дня, мальчик засыпал крепко и спокойно.

Третий класс был для меня каким-то роковым: я в нем просидел три года, почти потеряв надежду перебраться в следующий. С каждым годом пребывания в нем мое отчуждение от гимназии росло, казалось, прогрессивно; я потерял всякий интерес не только к школьной «учебе», но и ко всему, что напоминало науку или вообще книгу, какая бы она ни была. У меня выработалось в эти годы пребывания в гимназии какое-то

пренебрежение ко всякому чтению. Раньше, еще до поступления в гимназию, я любил слушать чтение, очень увлекался «Живописным обозрением», которое имелось у нас за несколько лет; после, в первом классе, я уже самостоятельно читал его, читал рассказы из священной истории в доступном изложении, с интересом рассматривал приложенные к ним, только что появившиеся в то время олеографии.

Но затем, чем больше я начинал питать отвращение к схоластическим учебникам, тем все более и более падал у меня интерес и к внешкольному чтению, да и некому было поддержать его. В гимназии посторонние книги были в чрезвычайно редком обращении; несмотря на то, что в кей существовала довольно большая так называемая «фундаментальная библиотека», последняя была недоступным святилищем не только для малышей, но и для старших воспитанников, изредка обслуживая лишь наставников, которые иногда приносили в классы объемистые томы в кожаных переплетах, поражавшие нас своею архаичностью и больше пугавшие, чем привлекавшие к чтению; книг же специально для детского и юношеского возраста в гимназии и в помине не было; на стороне брать их было тоже не у кого, так как чтение в моем родном городе в то время обреталось в полнейшем, повидимому, пренебрежении: в нем не существовало ни одной – ни частной, ни общественной – библиотеки для общего пользования.

Конечно, живой интерес к чтению могли бы возбудить во мне отец и дяди, довольно усердно занимавшиеся сами литературой, насколько это было возможно в нашей провинции. Но в описываемый мною период и отец и оба дяди до такой степени были поглощены заботами, чрезвычайно для них важными, что наше семейное воспитание как-то совсем ускользнуло от их внимания; они удовлетворились тем, что я был в гимназии, а для домашних занятий со мной, сестрами и другим братом изредка нанимали репетиторов из семинаристов и великовозрастных гимназистов, достаточно сведущих, чтобы преподавать «начатки» – и только, но в то же время иногда довольно неприглядных в нравственном смысле.

Незаметно для себя, все более и более теряя всякую духовную связь с гимназией, прикованный к ней лишь формально, я, покорный возрасту, искал соответствующей своей природе живой жизни и движения и невольно всецело отдавался спорту ребячьей улицы, тем более что интересы, которые в это время начали поглощать все внимание старших членов семьи, пока только вскользь и мимоходом касались моей души и в общем стояли выше моего разумения. Таким образом, я окончательно

эмансипировался от всякого почти постороннего духовного руководительства, за исключением обычных семейных отношений, и духовно и телесно развивался исключительно за свой собственный риск. И только когда я, оставленный в классе на третий год («для усовершенствования», как думал отец, так как предполагалось, что мои неуспехи главным образом зависели от слишком раннего поступления в гимназию), не только в успехах не совершенствовался, а все больше терял интерес к науке, отец заволновался: у него как будто сразу открылись глаза, и ему до очевидности стало ясно, что «система» сама по себе никакой чудодейственной силой не обладала и что, доведя меня до пропасти, она могла только, умыв руки, «извергнуть» меня, как «неспособного по природе» усвоить преподаваемую ею мудрость.

Надо было принимать какие-нибудь экстренные меры. На первый раз он решил усиленно приняться за мою внешкольную подготовку, прежде всего из тех предметов, в которых я казался наиболее слабым: в языках и математике. Для упражнения в немецком языке я должен был по вечерам ходить к нашему учителю-немцу; хотя толку из этого выходило мало, но зато он стал несколько снисходительнее ко мне; для практики во французском был приглашен на уроки ко мне и к младшему брату известный всему городу добродушнейший старик француз monsieur Тьер, в двенадцатом году взятый в плен из наполеоновской армии, куда он был, еще юнцом почти, прикомандирован в качестве барабанщика, и с тех пор скитавшийся по барским домам в звании гувернера, пока не попал в наш город, где за преклонностью лет стал пропитываться дешевыми частными уроками.

Относительно занятий с т-г Тьером, который благодаря своему добродушию скоро сделался постоянным посетителем нашего дома и которого все мы полюбили за его простоту и незлобивость, нужно, однако, по справедливости сказать, что его занятия благодаря его почти полному педагогическому невежеству принесли мне сравнительно далеко не столько пользы, сколько можно было ожидать от уроков у «настоящего» француза; он дал мне только возможность кое-как справляться с приготовлением к гимназическим урокам.

Упомяну здесь кстати о заключительной карьере этого добродушного барабанщика великой армии и бывшего гувернера у разных графов и князей. Когда я, уже будучи студентом, приехал однажды на каникулы домой, я, к изумлению, встретил его на железнодорожном вокзале в качестве ламповщика, заведовавшего освещением вокзала, получавшего ничтожное вознаграждение и жившего в маленькой комнатушке вместе с

своей сожительницей, старой кухаркой, куда он добродушно попрежнему и пригласил меня, устроив себе выпивку на радости, что его ученик достиг уже такого важного положения. В этой должности он и умер в глубокой старости.

Теперь о математике. Это был старый приятель отца еще по семинарии, где он теперь был субъ-инспектором и преподавателем математики и еврейского языка. Дикий, необузданный, деспотически и крайне вспыльчивый бурсак, С. был истинным страшилищем для местных семинаров, которые бегали от него, при первой возможности, как от чумы, а он гонялся за ними с остервенением по улицам, буквально как гончая собака; но в то же время он пользовался большой известностью как серьезный знаток своих научных специальностей; о том, что он составляет обширный древнееврейский словарь, знал весь город.

На этом эпизоде я остановлюсь несколько подробнее, так как он представляется мне довольно характерным вообще и играл значительную роль в моем духовном росте.

Когда отец объявил мне о своем решении и о согласии С. давать мне у него на дому ежедневно уроки, я вначале сильно струсил. Он жил по соседству с нами, я знал близко его детей, и по рассказам как их, так и сверстников-семинаристов я хорошо знал его бешеный характер, как он в минуты гнева ругался площадными словами и в классах и у себя в семье, раздавая оплеухи и подзатыльники. Страх мой перед ним был понятен, но меня успокаивало то, что отец был с ним все же довольно близко знаком, хотя они не ходили друг к другу. И вот с первого же урока у него начало совершаться на моих глазах некоторое педагогическое чудо.

Принял он меня хотя и с обычною суровостью, но «по-семейному», и, нисколько не интересуясь, знаю ли я что-нибудь по его предмету и как, он без всяких предисловий приступил к ознакомлению меня с самыми элементарными основами математики, как будто я никогда не учился в гимназии и не сидел в ней уже четыре года. Протестовать я, конечно, не решался. Он прямо начал объяснять мне совершенно просто, «по-человечески», именно по-человечески, нумерацию и затем шаг за шагом все те необыкновенно просто и логически вытекающие одно из другого действия, которые мне казались раньше чуть не каббалистикой… Урок, другой, третий, и я каждый раз стал уходить от него как будто все более и более духовно окрыленным. Прошло два месяца, и я уже был осиян настоящим откровением. Господи! да неужели же я не идиот, не тупица, как уже начинали говорить обо мне мудрые гимназические педагоги?.. С. был,

повидимому, мною тоже доволен, но он не показывал и вида, он даже не интересовался тем, за что и почему я получал в гимназии двойки и единицы; у него я уже свободно решал довольно сложные задачи по арифметике и геометрии… По прошествии двух месяцев С. сказал отцу лаконично: «Будет, довольно… Больше сыну ко мне ходить незачем пока… Пусть готовится к экзамену». И я стал готовиться к экзамену, пользуясь некоторой помощью отца, который урывал свободное от занятий время, чтобы «по-человечески» тоже помочь мне по некоторым предметам хотя мало-мальски разобраться в педагогической каббалистике. Я кое-как выдержал, наконец, экзамен, получив по математике «удовлетворительно», к изумлению нашего педагога, не решавшегося мне еще поставить лучший балл. (Замечательно, что с тех пор я уже не получал ниже четырех по всем отделам математики, а на выпускном экзамене имел полные пятерки.)

Наконец, я перевалил через роковой для меня рубикон третьего класса… Но главное дело было не в этом: суть была в том полусознаваемом «духовном окрылении», которое я начинал чувствовать все сильнее и сильнее… И все это совершалось благодаря тому, что заключается в небольшом слове «по-человечески». И толчок этому дал тот же дикий бурсак, который, как и все, был сам рабом «системы» в своем учебном заведении, где так же дико и нелепо ставил двойки и единицы, за которые секли, и где громадное большинство его учеников училось так же плохо, как и у нас в гимназии. Но стоило этому бурсаку, обладавшему недюжинным природным умом, хотя случайно, на самое короткое время отрешиться от рабства «системы» и взглянуть на дело по-человечески, и он мог творить чудеса.

После совершившегося со мною педагогического чуда и с переходом моим в четвертый класс закончился, так сказать, «дореформенный период» моих детских и школьных лет.

Но, прежде чем перейти к новому, «освободительному периоду», я должен коснуться некоторых интимных сторон нашей семейной жизни, игравших исключительную роль в моем развитии…